ПИСЬМО НАДЕЖДЫ

В 1979 году у меня в Волго-Вятском книжном издательстве в Горьком вышел сборничек стихов под названием «Отчее крыльцо». Долгое время рукопись этой книжечки лежала в издательстве, её обсуждали и на молодёжной секции при горьковском отделении Союза писателей, и писались на неё различные, подчас противоположные, рецензии, стихи подвергались критическому разбору в местной прессе. А годы шли и шли. Я совсем было упал духом, но в тот момент меня крепко поддерживал и утешал в Арзамасе Александр Иванович Плотников: «Издадут, издадут книжку, никуда не денутся...» Неожиданно для меня сборник был отмечен премией Горьковского комсомола.

Что ж, такое уже было в литературе и, вероятно, ещё не раз будет.

В ту пору я решил послать книжку старейшему горьковскому писателю, классику отечественной литературы, автору знаменитых романов «Девки», «Парни», «Юность», «Нижегородский откос», «Семён Пахарев» и других замечательных книг Николаю Ивановичу Кочину. Несколько раз я встречал его в стенах писательского дома, но лично мы не были знакомы. Я даже робел подойти к нему — такая дистанция... Тесно общался с ним Юра Адрианов, чьё имя в ту пору было на устах у всех любителей поэзии в Горьком, чей авторитет был непререкаемым и в среде самих писателей. «Был у Кочина, — нередко ронял он в разговоре, — ох и крупно мыслит старик...»

Да что там, Кочин — это Кочин! Сколько лет довелось отбыть ему в гулаговских лагерях по ложному доносу, который написал на него из зависти к могучему крестьянскому таланту в литературе один из его коллег! Помню внимательные, добрые глаза почти синего цвета, слегка согбенные широкие плечи, серебряную шевелюру головы. Вспоминаю его негромкий, рассудительный разговор, каждое слово словно взвешивалось им, неторопко обдумывалось, внушительно произносилось...

И вот в один прекрасный августовский день того же года получаю из Горького письмо. На обратном адресе размашистая подпись чернилами «Н. Кочин». С нетерпением вскрываю конверт, читаю.

«Дорогой Николай Борисыч!

Спасибо за присланную книгу. Я прочитал её с удовольствием. Никто из нас не сомневается, что Вы истинный поэт. Книга открывается как раз задушевным мотивом любви к России (непременный мотив каждого русского поэта). Сами слова: «Бежин луг», «Левитановские берёзы», «Тургеневская Россия» наполняют сердце моё теплом. Об Алёне Арзамасской можно (и должно) написать самую поэтическую поэму. У Вас в стихотворении это сделано мимоходом. Она достойна более пристального внимания, и трудолюбия, и изучения исторического материала, и отважного новаторства в средствах художественного изображения. Ничего Вы не прибавили к тому, что уже писалось, особенно гениальным Кедриным...

Что же касается тех стихов, которые написаны на избитые темы войны, то они, конечно, — сплошная подражательность... Надо самому всё увидеть и пережить. На этот счёт есть завет Чехова: «Не рисуй картин, которых не видел, и не описывай ощущений, которых не пережил». Мне нравится то, что около Вас. Это стихи, в которых Вы описываете достоверные факты и пережитые настроения. Ваши подлинные удачи: «Старуха», «В переулках старинных, зелёных, где крылечки с волшебной резьбой». Вообще, всё, что о своём — удачно. Чуткое отношение к природе («Вяз») и т. д. Всякую работу судят не по опытам и неудачам, а по взлётам, возможностям высоко подняться.

Есть у Вас одно стихотворение, которое ставит Вас в ряд с лучшими лириками нашего времени — это «Дуня». В стихотворении заключена такая правда, которая кричит на всех перекрёстках, такая трагедия, которой полны все беседы и призывы прессы, такие думы, какими полны все головы и сердца женщин.

И за это одно стихотворение я принял бы Вас в Союз писателей, как приняли Юрия Кузнецова.

Жму руку.

Привет землякам-арзамасцам. Особый привет Александру Ивановичу Плотникову.

Ваш Н. Кочин.
5 авг. 1979 г.

P.S. Особое извинение приношу Вам за то, что заставил Вас разбирать эти каракули и хромоногий слог. Лежал 2 года в больнице и сейчас только хожу по дому. За прямоту суждений не обижайтесь. Она вызвана тем, что считаю возможным разговаривать с Вами «на равных», Вы для этого вполне созрели».

Николай Иванович написал письмо автору, который не был тогда ещё членом Союза писателей, в журналах почти не печатался, в Москве не издавался. Какую волю, какую уверенность в своих силах и надежду вселил он в моём сердце! Шутка ли: он, известный всей стране писатель, со мной разговаривает в письме почти «на равных». Нет, я особо не обольщался, понимал, что это от доброты души, от желания помочь мне найти своё место в поэзии.

Господи, а извиняться-то за что? Да я расцеловать был готов его «каракули», написанные простой ученической ручкой и пером «звёздочка», которое он макал в чернильницу! Он, наверное, единственный писатель в ту пору, который писал «по-старинке», который не подружился ещё с модной шариковой ручкой. Как я мог обидеться «за прямоту суждений» на классика, который стал тем самым спасительным маяком в зыбком тумане моего творчества на все последующие годы? И который так высоко вознёс меня за лирическое стихотворение?

Я и по сей день благодарен большому советскому писателю: он и вправду указал мне главную дорогу в литературе, и я придерживался именно этого, народного, направления.

Хотя его суждения о стихах на военную тему весьма, как мне кажется, спорны. Как, впрочем, и суждение Чехова о том, что не надо писать картины, которых не видел и чего не пережил. А что, разве Пушкин, написавший «Полтаву», присутствовал в том сражении? И таких примеров несть числа. Другое дело — насколько это исполнено талантливо. Соглашаюсь, что те мои стихи на военную тему были далеки от совершенства. Но не писать о войне я не мог. Эта тема жила в каждом сердце моих сверстников, не дождавшихся с войны отцов, братьев, сестёр.

Мне обидно, что сегодня книги одного из самых крупных мастеров слова, талантливейшего художника, правдиво изобразившего боль и сложности русской жизни первой половины двадцатого века, не увидишь на полках книжных магазинов. Одно утешает: всё в жизни, рано или поздно, возвращается «на круги своя».

А значит, придёт время и книг Николая Кочина.

«АВВАКУМА» БУДУ ЧИТАТЬ!..»

О творчестве Фёдора Сухова написано много, правдиво и хорошо, обозначены главные моменты уникального по своей художественной выразительности таланта, стоящего как бы особняком, с краю, скромно в русской советской поэзии, настолько он не похож ни на кого в своём песенном звучании, в поэтическом исповедальном разговоре с читателем, а особенно с природой, которая была для него самым большим другом. Он и всей своей сухонькой фигурой с клюшкой в руке («не клюшка, а посох», — поправлял он) походил то ли на взъерошенного воробья, то ли на чёрного нахохлившегося галчонка. Фронтовик, боевой офицер, но — божья птичка, божья дудка... Особенно высоко ценили его творчество сами поэты, понимая, что он вот такой один среди них, и даже подражать ему — бессмысленно. Не получится. А характер!.. Если кто ему не понравится — махнёт рукой и отойдёт. А то вдруг начнёт резать правду-матку в глаза так, что ой-ёй. А уж начнёт стихи читать — и буквально сразу вырастет из незаметного прихрамывающего галчонка в великана с почти громовым голосом.

Не забыть, как мы коротали с ним ночь в Большом Болдине на Пушкинском празднике поэзии где-то в конце семидесятых годов прошлого века. В гостиничной комнате нас было двое, остальные поэты шатались по коридору и по селу, балагурили, читали стихи, спорили, дискуссировали, вспоминали, искали и находили обязательно у кого-то припрятанную привезённую бутылку водки, оживлённо шумели, пили прямо из горлышка, бравируя перед товарищами.

Фёдор тоже был изрядно выпивши. Дверь у нас была приоткрыта, частенько то один, то другой москвич, ленинградец, горьковчанин, гость из Грузии или Молдавии прошмыгивали около с гордо поднятыми головами небожителей.

Фёдор, сидя на кровати, привскакивал и тоскливо информировал меня:

— Ты думаешь, Коля, что этот вон, — он указывал своим посохом в сторону прошмыгнувшего мимо, — поэт, что ли, настоящий?.. Ты вспомни у него хоть одну строчку...

Горестно махал рукой и многозначительно замолкал.

А потом вдруг привстал с кровати, замер, как памятник на постаменте, и отчеканил:

— Слушай, я тебе «Аввакума» читать буду. Недавно написал. Слушай...

И начал читать. Наизусть, конечно. Длинный, гневный монолог. И постепенно голос его начинал обретать такую силу, столько вдохновения было в поэте, столько огненной страсти, что стали раз от разу заходить мелькавшие участники праздника в нашу комнату и с разинутыми ртами и изумлёнными глазами слушать его. И скоро образовалась толпа. А он и сам был похож на непокорного Аввакума, грозящего рукой с зажатым посохом тем, кто наверху, на троне, он так вошёл в образ буйного раскольника и правдолюба, что, пожалуй, ни один артист не прочитал бы, не сыграл бы более достоверно эту роль, чем Фёдор Григорьевич. Он просто всех ошеломил своим талантом и поэта, и чтеца.

И было столько аплодисментов и восторженных возгласов, сколько в этот день ни сам Фёдор, никто другой из поэтов не имели ни в концертном зале, ни завтра в роще «Лучинник»...

Удивительный был человек.

Приезжаем к нему в Красный Осёлок, посёлок, расположенный высоко над Волгой, в Лысковском районе Нижегородской области, с поэтом Александром Плотниковым из Арзамаса. Они были большие друзья. В гости, конечно. Он уже не раз зазывал нас. Домик небольшой, но крепкий, каменный. Фёдор, одетый по-деревенски просто, встречает нас на крыльце, его жена Маша лежит в это время в избе на печке. «Стихи сочиняет, — роняет Фёдор как бы между прочим, но с некой усмешкой, — она у меня тоже пишет, я кое-что поправляю, баба всё-таки...»

Ведёт нас в огород, показывает крыжовник. «Сам вырастил, — с гордостью говорит, — и смородинку сам посадил. Всё растёт, землица хорошая…»

Конечно, без выпивки что за встреча — он не признавал такого. Маша уже суетилась с закуской. И что это за застолье без стихов, без балагурства? И так всегда. В любой приезд.

Однажды я, живя уже под Ленинградом, приехал в Лысково, и брат моей жены Лиды Алексей повёз меня знакомить со священником местного прихода отцом Константином. И каково же было моё удивление, когда за столом отца Константина мы увидели Фёдора — с просветлёнными глазами, с прямо-таки светящейся душой ребёнка, которому открылось что-то новое и благодатное в жизни.

Ба!.. Что началось! Конечно, обнялись, конечно, пришлось садиться за стол, конечно, если сам отец Константин не против, как не выпить. И как нам не спеть русских песен? И этому застолью не было конца. Я не могу даже вспомнить, как мы с Алексеем вновь оказались дома. Зато не забыть, как Фёдор после того, как кончится одна песня, вскакивал, теребил непокорный чёрный вихор на голове, восторженно взмахивал руками и начинал новую. А мы дружно подхватывали.

Короче, отец Константин оказался большим другом поэта Фёдора Сухова, и Фёдор нас так сдружил, что отец Константин впоследствии, где-то в начале 90-х, приехав в Санкт-Петербург по своим святым делам, нашёл меня в Тосно, ночевал, и мы долго не могли с ним наговориться за столом о том же Фёдоре, о России, которая, казалось, летела в пропасть. «Всё образуется, — утешал меня и мою жену Лиду отец Константин. — Господь не попустит…»

Последний раз мы встретились с Фёдором Григорьевичем в Москве, в буфете ЦДЛ в конце восьмидесятых. Был то ли съезд, то ли пленум Союза писателей России. Фёдор, опёршись на клюшку, стоял нахохлившись с каким-то покорным видом у буфетной стойки. Я подошёл, мы обнялись. Сели за столик.

— Ну, как ты там, в Ленинграде-то? — спросил он. — Не тоскуешь по родному Арзамасу?

— Да некогда, Фёдор Григорьевич, заботы не дают тосковать, и потом работаю, много пишу…

— Это хорошо, что пишешь, а я вот почти не пишу, — растерянно, грустно сказал он. — Трудно даются сейчас стихи… Но зато прозы напахал много. Целую книжку. Хочу своё слово о войне оставить. Только вот где напечатать?..

Наговорились досыта, навспоминались, напечалились.

К рюмке он почти не притрагивался.

— Будешь в Нижнем, дай знать — встретимся…

Нет, больше мы с одним из лучших русских поэтов, храбрым офицером-фронтовиком, славным нижегородцем, которого и в Волгограде считали своим, родным, не встретились.

И я до сих пор вспоминаю его непокорный, как характер поэта, вихор на голове, его чёрные печальные глаза всё повидавшего в жизни солдата, его почти громовой голос при небольшом росте и сухонькой фигуре с посохом в руке:

— «Аввакума» буду читать… Слушай!

СУДЬБА

Однажды на одном из поэтических вечеров в Горьковском Доме учёных, умирая за кулисами от страха за предстоящее собственное выступление и ожидая очереди в шумливой толпе своих сверстников, как и я сам, начинающих стихотворцев, я услышал раздражённое:

— Да тише вы, поэты… Дайте Люкина послушать!

Не помню, кто сказал тогда эту фразу, но помню, как мои собратья по перу вдруг как по команде перестали шушукаться и навострили уши.

На сцену вышел небольшого роста плотный, с гладко зачёсанными назад волосами, несколько флегматичный, как мне показалось, и немолодой уже человек. Начал он выступление буднично как-то, простовато. Читал стихи о пацане, «Василь Андреиче», который в цехе осваивает нелёгкую рабочую профессию:

— Ты, Василь Андреич, локоть выше…
Ничего… Пойдёт… Наладишь, брат!..
А Василь Андреич и не дышит:
Весь вниманье с головы до пят.

Я был поражён. Неужели так вот просто можно писать? И это поэзия? Ведь ничего ни от Есенина, ни от Маяковского. Да и старомодно вроде. То ли дело Евтушенко или Вознесенский! Но зал внимал Люкину затаив дыхание. И после его выступления бурно зааплодировал.

Я недоумевал. И тогда впервые задумался о том, что же такое истинная поэзия.

Скоро мне дали прочитать первую книжечку Люкина, которая называлась «Мои знакомые». Прочитал и снова поразился её непохожести на все остальные. Стало ясно, что в поэзии важен свой голос, свой отличительный почерк, только тогда и найдёшь в ней место.

Вторая моя встреча с поэтом произошла во время всесоюзного совещания молодых поэтов в Горьком. Было поэтическое выступление на сцене большого зала. Мы, студенты, сидя на галёрке, слушали уже маститых Сергея Орлова, Людмилу Татьяничеву, Николая Рыленкова, Сергея Баруздина и других.

В перерыве, сгорая от тщеславного желания показать свои вирши какой-нибудь знаменитости, ватага молодых горьковских стихотворцев окружала кольцом то Сергея Орлова, то Людмилу Татьяничеву. Так хотелось, чтобы кто-то из них заметил, поддержал, похвалил!

Вначале и у меня было такое желание — показать стихи мастерам. Но этот порыв мгновенно угас, лишь только я лихорадочно перечитал свои наспех от руки написанные опусы. Слабо! — понял я и заробел.

Потихоньку отколовшись от толпы, я огорчённо прислонился к лестничным перилам. В это время по лестнице поднимался Александр Иванович. Увидев моё расстроенное лицо, он спросил:

— Поэт, что ли?

Я уныло кивнул головой.

— Постой, постой… А фамилия твоя как?

Я назвался.

— Постой, постой… «Сенокос» твой, что ли?

Я кивнул головой.

— А чего раскис?

Видимо, поняв моё состояние, Александр Иванович сказал ободряющие слова, наградил доброй товарищеской улыбкой, взял у меня из рук альманах «Поэтический год 1961», нашёл там свои стихи, вынул авторучку и написал: «Николаю Рачкову». Поглядел на меня пристально и дописал: «С уважением А. Люкин». И пожал руку. Так мы познакомились.

Вспоминая те далёкие суматошные дни, я думаю о том, как несправедлива подчас бывает судьба к талантам, одних непомерно вознося,

других подолгу выдерживая в тени. Вот Люкин. О нём уже говорила и писала Москва, а в родном городе в писательском кругу долго взирали не него как на начинающего, снисходительно.

Он же, кивая головой в сторону горьковских критиков, усмехался:

— Меня не интересует, что о моём творчестве говорят литературоведы, меня интересует, что о моих стихах скажут поэты. Вот они — главные ценители и есть, они-то всё понимают…

Тем не менее, он был всегда душой, центром компании, дружеской литературной ватаги. Его больше привлекала «молодая поросль», чем «старики», любил он наши скромные застолья и чутко прислушивался к нашим ещё не окрепшим голосам. Стихи ходили по кругу.

Однажды, ещё студентом, захожу в приёмную писательской организации. Там никого, один Люкин сидит, задумавшись, вероятно, ожидая кого-то. Увидел меня, обрадовался:

— Ну-ка, почитай что-нибудь новенькое…

Я прочитал недавно написанное стихотворение «Русалка». При последних строчках: «И на холме, как на эстраде, белели клавиши берёз» он вскочил со стула и заходил по приёмной.

— Красиво-то как, а!.. Ну-ка прочитай ещё раз…

Я снова прочитал стихотворение.

О чём оно? Да как девчонка пляшет под дождём:

Вся устремилась к чёрной туче,
Счастливой дерзости полна.
И в блеске молнии летучей
Сверкает змейкою она.

Вздохнул и внезапно ушёл из приёмной, так и не дождавшись того, кого ждал. Ушёл с каким-то мечтательным, затаённым взглядом. Я потом раздумывал: почему ему так понравилось это стихотворение? Ведь ничего особенного в нём нет, так, лёгкая красивая лирика. Но, видимо, Люкину, который выковывал строки, закалял, как рабочий, как кузнец, и они были жизненно весомы и безукоризненно просты и чисты, без всякой окалины, именно эта моя лёгкость, этот лирический напор и нравились, душа его тянулась к такой поэзии. К поэзии другого порядка, скорее романтического. Он умел восхищаться талантом товарищей, особенно молодых, потому что сам был самодостаточен и очень талантлив.

О таких часто говорят: самородок.

Он и был в поэзии самородком, причём редчайшим, драгоценным.

Крестьянский сын,
воспитанник завода
И волею судеб
интеллигент.

Я мало знаю, с кем общался он в жизни. Наверное, в Сормове у него были друзья, наверное, его любили — такого человека нельзя было не любить. Он был честным и храбрым солдатом на войне, честен он был и в литературе. Если не нравились стихи, он это говорил в глаза. Так он наживал недоброжелателей, которые говорили:

— Люкин? Да он же писать не умеет. Это же ликбез, это же для малограмотных… Где культура стиха? Где музыка? Где краски?..

Но происходило невероятное.

«Не умеющий писать» Люкин легко овладевал любой аудиторией — рабочей, студенческой, колхозной. Его короткие стихи о жизни, насыщенные мудрой житейской философией, опрокидывали всё надуманное, что говорили о нём иные «мастера» слова. Стихи шли к людям и завоёвывали их сердца. Могу привести в пример хотя бы вот это стихотворение:

ДОРОГА

Не балована
И не нежена,
Вся истоптана,
Вся изъезжена.
Всю повытерли,
Ископытили
И извозчики,
И водители.

Вечно корчится,
Вечно мается
И лежит в пыли,
звивается.

Эх, пожить бы ей
Недотрогою!
Да кому ж тогда
Быть дорогою?..

Или вот о судьбе солдата. Ёмко, лаконично, обезоруживающе просто изображено страшное народное горе.

Солдату ноги перебило.
И на краю родной земли
Стонал он горько и уныло:
— Братишка,
сжалься,
пристрели.

А за спиной дома горели.
Солдатки плакали в дыму.
И мы его не пожалели,
Мы сохранили жизнь ему.

Насколько серьёзно относился к стихам, к творчеству Александр Люкин, говорит такой факт.

Однажды на поэтическом семинаре обсуждали молодых. Некий начинающий поэт, прежде чем начать читать свои творения, стал произносить длинный монолог с извинениями. Суть сводилась к тому, что он, дескать, не считает стихи за стоящее дело, что вирши он намарал шутя, что уже два года как ничего не пишет.

Помню, как изменился в лице Александр Иванович, как его чёрные глаза колюче уставились на случайного стихоплёта. Он медленно поднялся из-за стола и заговорил, обращаясь к незадачливому сочинителю:

— Ты зачем сюда пришёл? Ты куда, в какое место пришёл? Я вот, к примеру, если два дня не пишу ни одной строчки, сам себя стыжусь. Для меня это большой перерыв в работе. Стихи — это тоже труд. Это тяжелее, чем за верстаком... А ты два года не писал и хочешь, чтобы мы на тебя здесь время тратили попусту...

Многое забыл, что говорилось на семинарах, а вот люкинские уроки не выходят из головы.

Не выходит у меня из головы и одна из последних встреч с ним. Это было в Семёнове, на праздновании юбилея Бориса Корнилова в 1967 году. Отбившись от компании, Александр Иванович пропал. Уже вечер, темно, все собрались в общежитии, где нас разместило местное руководство, всех пересчитал руководитель горьковской писательской организации Владимир Автономов, все на месте, — и москвичи, и ленинградцы, и горьковчане — а Люкина нет.

Автономов забил тревогу. Стал метаться по комнатам, стал выискивать наиболее трезвых после празднества — таковыми оказались Александр Плотников, местный поэт Николай Маравин и я.

— Умоляю, поищите его в Семёнове, может, заснул где-нибудь на скамейке...

И мы пошли. Не такой уж большой городок Семёнов, и мы скоро почти весь его обошли, обыскали все улицы и переулки. И нигде ни слуху, ни духу. Тишина, лай собак и свет из окошек, пустые скамейки. Кое-где кучками молодёжь хороводится. Александра Ивановича нигде не видно. Вышли наконец на железнодорожную станцию. Везде пусто. И только вдали, в мерцании фонарей, куда уходили рельсы, качалась какая-то фигура, двигавшаяся по шпалам в сторону Горького. Догнали на всякий случай. Это был Люкин.

— Ми-и-и-лай, — испуганно обращался он пьяным рыдающим голосом то к Плотникову, то ко мне, тащившим его под руки, — за что

они меня так, а?.. Хошь, говорят, тебя в тюрьму?.. Хошь, говорят, тебя убьём?.. За что?.. Меня!.. Да я!..

Он был беспомощен, как ребёнок. Оказывается, бродя по городу, он встретил каких-то подвыпивших парней, завёл с ними разговор, и у них произошёл спор, завязалось нечто вроде перепалки. Хотя никто его не бил. Но вот — обидели. Поэта обидели! Насмеялись над ним, решили напугать! А он-то не из пугливых. И вот, рассердившись и на них, и на всё и вся, решил идти пешком по шпалам домой, в Горький. И с наивным доверием сообщил нам об этом.

Самое удивительное, что буквально через несколько минут после того, как мы его увели с железной дороги, по рельсам промчался поезд...

По сути, спасли его от смерти.

Привели его в общежитие, уложили спать. Утром шутили, смеялись, вспоминая этот эпизод. Александр Иванович растерянно только и мог сказать:

— Надо же... Ничего не помню... Ничего... Спасибо вам, друзья...

А скоро произошло то, что произошло. Праздновали юбилей одного из горьковских писателей. Александр Иванович опять ушёл один — и не вернулся. Его нашли убитым в подъезде чужого дома, куда он случайно, не разобрав, где находится, зашёл...

МЫ ШЛИ ЗА НИМ

У меня к Юре были особые чувства, ещё с юношеских лет. Впервые я услышал о нём, вернее, его, по радио. Я учился тогда в 10 классе, жил в родном селе под Арзамасом. Включил как-то радио — и вдруг звонкий, напористый голос читает «Балладу...». Это читал Юра Адрианов. И вдохновение, с которым он читал, и эмоциональность меня буквально ошеломили. Ведь почти мой ровесник, ну, на три года он старше меня. А какие стихи!

На следующий год, когда после школы я поступил в пединститут, мы познакомились с ним в Горьком, ближе сошлись уже на студенческих вечерах, в литкружке у Бориса Пильника, в Доме учёных. Мы все тогда были одной командой — Юра, Саша Цирульников, Анатолий Вострилов, Валера Шамшурин, Анатолий Гринес, Ирина Морозова и другие, десятка два молодых поэтов. Помню наши поездки в Кстово, в Семёнов, в Городец, где мы выступали со своими стихами. И Юра, конечно, был первый среди нас. Самый талантливый, самый-самый. Мы все были просто влюблены в него. О вечерах в Доме учёных и говорить нечего — это были праздники для студенческой молодёжи, а для нас — большая школа.

Довелось мне с Юрой не однажды бродить по Нижнему, поначалу я плохо знал город, он водил меня на Ошару, где в парке пели в ту пору соловьи в кустах, бродили с ним по улицам, переулкам города, он показывал мне свои любимые места. Юра был как-то по-особому затаён и нежен. Помнится, он был тогда безнадёжно влюблён. И я не понимал, как может девчонка не влюбиться досмерти в такого красивого, такого талантливого, такого умного, такого...

Как-то, летом это было, я на каникулах жил дома, помогал косить траву, заготавливать дрова и так далее. Иду из магазина, вижу группу студентов возле дома Карпова. Подхожу: ба! Да тут все мои знакомые — Юра Адрианов (он был с этюдником под мышкой), Саша Цирульников и другие. Они тоже удивились: «Ты как здесь?» — «Так я же отсюда, вон там на Скучихе мой дом, приходите в гости...» У них был фотоаппарат, сначала мы сфотографировались. Я прибежал домой: «Мама, мама, мои друзья из Горького идут к нам, человек семь-восемь, вместе с профессором, надо чем-то угостить, они голодные...».

Угостить! Легко сказать. А чем тогда в деревне было угощать? Бедность неимоверная. Но мама наварила картошки, сбегала к соседям и подзаняла яиц, поставила на стол кринки с молоком, хлеб, огурцы и лук прямо с грядки, свежие, и — застолье вышло на славу. Сколько было

шуток, смеха за столом, сколько разговоров о том, что они увидели и услышали в окрестных сёлах и деревнях!

А вечером в клубе студенты устроили вечер для селян. Юра изображал старушку, причём глухую. Он повязал платок на голову и выглядел просто уморительно. Он вообще был очень артистичен в жизни. Игрались сценки, подсмотренные в жизни во время странствий по сёлам и деревням. Помню, сельчане за животы хватались. И впервые в родном селе со своими стихами я и выступил тогда, на этом концерте. Меня Юра представил односельчанам как поэта. Несмотря на корявые вирши, успех был оглушительным. Когда отбывали из села, Юра сказал: «Эх, Коля, мама у тебя какая добрая, хорошая...»

И не забуду, как он помогал, когда тяжело заболела моя мама. Екатерина Ивановна — мама Юры — близко к сердцу восприняла моё горе, дала адрес одного народного целителя в Сормове, куда я возил маму. Может быть, потому она сумела прожить ещё несколько месяцев. Юра потом посвятил мне стихотворение под названием «Мать», он видел мои переживания, моё состояние, ведь я остался круглым сиротой. Не забуду его трогательного сочувствия. Потом и Юра сам лишился своей матери — главной опоры в его жизни. Это был не самый лучший период в его жизни, в творчестве. Увы, кое-кто в литературных кругах радостно злословили: «Испился... Пьёт по-чёрному...». Ах, зависть к таланту неистребима. Мне было обидно за друга и я написал статью «Слово о поэте», которая так и начиналась: «Я люблю поэта Юрия Адрианова». Гена Косолапов поддержал и напечатал эту статью в «Горьковской правде». В ней я рассказал о том, как много он для всех нас значит и выразил уверенность, что главные книги у него ещё впереди. Так и случилось!

Впрочем, не всегда всё было гладко в наших отношениях. Особенно в молодости.

Был случай, когда мы с ним здорово повздорили. Да что там повздорили — разругались! И надолго. На целый, наверное, год, точно не упомню. Он закончил университет и стал работать на горьковском телевидении в студии молодёжного творческого объединения «Факел». Я ещё учился в институте на третьем курсе.

И вот на телевидении был объявлен конкурс молодых поэтов. Студенческий конкурс. Тогда это было модно. Юра, конечно, был в составе жюри, как младший сотрудник редакции он отвечал за проведение этого конкурса в прямом эфире под началом своих руководителей Рогнеды Шабаровой и Дмитрия Мараша. Только позднее я понял, какая это была сложная, ответственная работа, ведь они отвечали за каждое слово, прозвучавшее в эфире. А мало ли кто чего накуролесить может?

Цензура внимательно отслеживала эти передачи.

Конечно, жюри возглавлял старейшина горьковских поэтов Борис Пильник. Передача была живая, эмоциональная. Прямо по ходу передачи звонили телезрители и называли претендентов на первое место.

И вот, когда передача закончилась, было объявлено, что первое место заняла одна поэтесса (забыл её имя), второе — тоже сейчас не вспомню кто, третье — Николай Рачков. И был назначен день, когда победители снова выйдут в эфир и получат премии.

Но на эту победную передачу я не пошёл. Обиделся. Я уже понимал, что победительница никакая не поэтесса, это из разряда графоманов, умеющих бойко и громко декламировать пустоту. Тот, занявший второе место, тоже никакой не поэт, просто легковесный сочинитель.

Что, жюри не видело это?

— Ты понимаешь, что меня подвёл? — кричал Юрка, когда мы встретились на улице. — Это же эфир! Ты был заявлен. И ты не пришёл. Что мне было делать, кем тебя заменять? Всё, знать тебя не хочу!..

— А ты, — орал я ему в лицо, — ты что, не видел, кого вы там награждаете? Ты что, ничего в стихах, что ли, не понимаешь? Конкурс в балаган превратили!..

— Всё я понимаю, — ещё громче кричал он. — Да, да, твои стихи были лучше, не спорю. Но у этой барышни сотня знакомых и родни в Горьком, у всех домашние телефоны, они насели на них и высказывали с восторгом своё мнение о ней. А твоя родня — в Кирилловке, где ни одного телефона, а у твоих почитателей в Горьком телефонов оказалось меньше... И что я мог сделать? Один — против всего жюри! Согласился со всеми. Пильник решил, что не стоит палку перегибать — по нам ударит. Да и поэтесса почему-то ему нравится... Есть и в её стихах что-то...

— Эх, ты!..

— А ты!..

Так мы разошлись, обиженные друг на друга, и долго не встречались. У него была своя правда — я его подвёл на его работе. Тоже, называется, друг. У меня — своя правда, не смог, не захотел отстоять меня, мои стихи. Сам же признал, что они лучше.

Сейчас-то я, конечно, понимаю, что повёл тогда себя недостойно, как мальчишка. И действительно его подвёл. Ну, подумаешь, конкурс, ну, третье место. Выступил бы, не облез от этого. Чего обиделся-то? Тщеславие взыграло. Знал бы тогда, сколько раз в жизни придётся мириться с несправедливостью... Эх, молодость!

Но хочу подчеркнуть: больше у нас с ним за всю жизнь таких ссор не было. Все книги, которые от мне дарил, начиная с первого сборника «Считайте годы по вёснам», содержали примерно одинаковые дружеские автографы. Приведу некоторые из них: «Коле Рачкову с дорогой памятью наших светлых, юных, умных и бесшабашных лет» (1976 г.), «Дорогому человеку, талантливому поэту и почти однокашнику Николаю Рачкову. Пусть свежесть юности нашей не покидает души» (1979 г.), «Дорогому Коле Рачкову с памятью, которой больше двадцати лет, с любовью к его поэтической звезде и дороге» (1980 г.), «Другу моей юности, русскому поэту, которого искренне люблю — Николаю Рачкову от «поэта ГГУ» достопамятных 60-х годов. Полистаешь — многое вспомнишь» (1986 г.).

Это он писал мне на своих книжках, когда я ещё жил в Арзамасе. Чувство дружбы было в нём очень сильным, может, ещё и потому, что время нашей студенческой молодости было самым счастливым для него в жизни.

Время шло...

Нередко мы с Александром Ивановичем Плотниковым, заявившись из Арзамаса в Горький, навещали Юру. Он тогда жил, как и прежде, после развода с первой женой в квартире своей матери на Ошаре, по улице Белинского. Его новая жена Наташа содержала в квартире собак охотничьей породы. Открываешь дверь — и к тебе бросается в первую очередь, как старая приятельница, белой масти борзая по кличке Метель. И кладёт тебе передние лапы на плечи — худая, горбатая и длинная. Ой, да что там. Сидим за столом на кухне, выпиваем, закусываем, а эта Метель и её такой же породы напарница, подходят по-хозяйски к столу и указывают мордой на ту или иную тарелку. И мы кормим собак с рук. Кормим, пока не отойдут. Пока Юра не скажет: «Хватит! Пошли отсюда... Пить не научились, — шутил он, — а вот закусывать мастера...»

Сам он, одетый словно какой-нибудь барин из великолепной повести Пушкина, или как польский пан, в домашний архалук, а скорее пиджак, нарядно расшитый крупными вензельными петлицами (где приобрёл, не знаю), был очень театрален, красив и всегда необычайно разговорчив и остроумен. Мы читали друг другу новые стихи, критиковали или хвалили те или иные строки, пели русские песни и, кажется, что этому дружескому застолью у Юры не было конца. Потому как не мы одни приезжали вот так к нему, после нас обязательно объявлялись в его квартире другие гости. У нас-то хоть часто был повод навестить его: Александр Иванович, добрейшей души человек, доставал из богатых запасов своего подвала трёхлитровые банки огурцов и помидоров, большие кочаны свежей капусты, отборную свёклу и морковь со своего огорода — и всё это мы везли порадовать Адрианова.

Увы, многие заявлялись к нему просто с бутылками водки, и это вошло в привычку. Так вот за талант, за славу поэта, за широкую известность и всеобщую любовь приходилось расплачиваться этой пагубой. И никто не смог переломить ход этой жизненно-драматической ситуации. И когда он писал свои стихи и прозу — уму непостижимо.

Юру любили художники, и стены его квартиры были увешаны подаренными полотнами. Он и сам писал красками, хотя как художник ценил себя невысоко. Как-то я покритиковал одно из полотен на стене, заметил, что и сам Юра намалюет не хуже.

— Эх, Коля, много ты понимаешь в живописи, — вздохнул он. — Это тебе не стихи...

И всё же он очень любил писать красками. Занятия в художественной школе не прошли даром. Это увлечение он сохранил до конца своей жизни. Напишет этюд — и выставит на видное место в кабинете.

— Мне нравятся вот эти твои серые избы, — покажет важно рукой на свежий холст Пётр Еремеев, приехавший с нами из Арзамаса писатель-краевед.

Юра небрежно бросает:

— Нравится? Дарю.

Как-то и я расхвалил его только что созданный живописный этюд с ливнем берёзовых листьев на солнце и лавочку под ними. От холста ещё пахло масляными красками.

Юра недолго рассматривал свой шедевр.

— Неужели и вправду тебе по душе?

Я кивнул головой, заметив, как он внутренне доволен.

— Ну раз так, забирай...

Я храню этот этюд его как память о нашей дружбе.

Сколько вот таких этюдов и пейзажей он раздарил своим приятелям — и не сосчитаешь. Щедрость Юры не знала границ. После его смерти Наташа издала альбом живописных этюдов вперемешку со стихами. И многие были удивлены, открыв в талантливом художнике слова Адрианове ещё и художника вдохновенной кисти.

После того, как я уехал под Петербург, мы стали видеться редко. Но книгами обменивались аккуратно. Я посылал ему все выходившие у меня сборники, он присылал мне свои с тёплыми трогательными автографами, подчас и шуточными. Каждый автограф начинался: «Дорогому Коле...». Иногда переписывались, особенно потянулись друг к другу в последнее время. Его письма — это и крик, и боль души, и грустные раздумья о жизни и литературе. Храню их.

Когда в Петербурге я был избран в редколлегию альманаха Петровской академии наук и искусств «Медный всадник», то решил обязательно порекомендовать стихи Адрианова к напечатанию. Позвонил, попросил прислать подборку. Он обрадованно согласился. Время шло, а письма со стихами нет и нет. Снова звоню. Просит прощения, обещает, что вот-вот немедленно вышлет. А время идёт. Наконец получаю долгожданное письмо.

«Коля! дорогой! обнимаю тебя и падаю на колени. Виноват. Месяц «томил» рукопись. Наверное, опоздал. Жаль. Меня арзамасская типография сделает идиотом. «Пояс Богородицы» не могут прошить шесть месяцев. Что там за умельцы? А посредник — юрист Галкин почистил меня на 25 тысяч (я бы ещё издал пару простеньких книг!). ох, подонки: он и поэт-правозащитник один (его-то тихо издали на мои деньги...).

Коля! дорогой! Как только выйдет тираж, напишу внятно и подробно. Поклон супруге. Шама не видно. Он весь в выборах... Он не может без этого. За «Нижегородскую отчину» мне дали премию М. Горького. Кажется, первому, т. к. её на днях придумали.

Твой Ю. Адрианов. 3.06.2002 г.»

Читая порывистый, подчас плохо разборчивый почерк Юры, я понял, в каком он состоянии находился. Не всё складывалось хорошо, сколько

нервов ему стоило издать сборник новых стихов. И тут и там ставили подножку. Шамом он называл ещё со студенческих лет Валерия Шамшурина.

Когда сборник стихов «Пояс Богородицы» всё-таки был издан, Юра прислал мне его с таким вот автографом:

«Собрату и другу юности моей, прекрасному русскому поэту Коле Рачкову, памятно, сердечно, с дружеским поклоном от Волги и Оки. Это самое «обворованное» издание в моей жизни.

Твой Юра Адрианов. Окт. 2002 г.»

Послал я ему альманах со стихами. В подборку я включил не только его новые стихи, но взял и из прежних сборников. Получаю письмо.

«Дорогой Коля! Спасибо за «Всадника». Подборка прекрасная! И ты в неё включил стихи, посвящённые Шамшурину. Они — единственные, которые я написал в Питере! Это было в 1971 году.

Что за наказание эта буква Н в фамилии. Но её упразднили где-то в 1825 году в здании Сената, опять у вас же! Стал Адриановым. А я вспомнил 1964 год. Тогда с Шамом и братом двоюродным Андреем прибыл в Питер из Кижей. А в Питере у меня на почте был перевод на 50 рублей (!), и я там бился, потому что написано было: Андрианову. И мне не давали деньги сутки, какие это были страдания! Так что альманах я прочёл с интересом: ведь там родная история! Прочёл весь сплошь. Как дела у меня? Сижу на Ошаре, позваниваю, два месяца почти ничего не пишу, разве что три-четыре статьи за месяц…

Ну, да ладно! Губернатор обещает помочь в издании 2-хтомника стихов. Ещё раз спасибо за «Всадника». Обнимаю! Может, свидимся!

Твой Юрий Адрианов. 2. 12.2003 г.»

Конечно, надо знать Юру. В запальчивости он мог и наговорить, и написать невесть что. Потом остывал. И тем не менее, понять его обиду, душевное состояние можно. Не привык он, всеобщий любимец, чтобы так вот по-хамски с ним поступали. И в делах, и в дружбе.

Пожалуй, на кого он мог без боязни опереться, кто не бросал его в трудные годы, это был студенческий товарищ Саша Цирульников. «Сашка — друг настоящий. Мне ещё мама говорила: смотри, Юрка, все друзья-приятели тебя бросят, а вот Сашка не бросит…»

Так и вышло. Именно Саша больше всех ходатайствовал за него во властных структурах, чтобы издавали Адрианова, чтобы присвоили ему звание Почётного гражданина Нижнего Новгорода. И добился-таки.

Хочу привести некоторые отрывки из письма Юры, которое много раскрывает и в его запальчивом, обидчивом характере, и в той обстановке, в которой он жил в последние годы.

«Коля! Дорогой!

Спасибо тебе, единственному, кто помнит о начальных наших годах… Я не был в Москве 16 лет! И ничего — живу! Что надо писать и что надо говорить я знаю и без тамошних споров. Я ведь к 1976 году, — когда Шама приняли в Союз, — уже пропил всё: был зам. секретаря писательской организации, был членом правления Союза писателей РСФСР, делегатом съездов. Меня тёща опозорила, обхамила, а я, оставив квартиру, вернулся в свой домик на Белинского к маме. А в 1978 году встретил Наташу, а в 1979 году, по осени, мы расписались. Ныне у нас будет в сентябре — 25 лет! Это начиналась вторая жизнь. Сызнова, начисто!

Счастлив, что мне, молча сидящему, повезло на губернатора. Он знал, что я не бегал по новым именам и молча жил по старым канонам. Это Ходырев знал, оттого и позвал меня к себе на приём. Всё это сделал Саша Цирульников.

— А что ты у меня ничего не просишь? — спросил Ходырев. — Все ко мне приходят — просить! Вот, может, какие-то книги издать…

— Да, но это дорого!..

— А сколько нужно?

Я помолчал, потом говорю: 150 тысяч!

Ходырев улыбнулся: «Ну, это мы сможем помочь!..»

Так начинался 2-хтомник. Через год получил деньги — 200 тысяч… У меня есть ещё рукопись одного тома! Но прежде хочу издать книгу «Провинциальные Гомеры». Это рассказы о нашем «гнезде», о Горьком, Кочине, Сухове, Пильнике, Люкине.

Ведь я не напишу — никто ныне не станет трудиться. А ведь у нас напринимали — 60 человек! В моё время было — 15! Кого принимают — не ведаю. Всё девочки, девочки и мальчики с гонором, с голосом.

Молчу, живу и молчу… Я тут выпустил «Питомцев волжских берегов» — антологию поэзии. Сейчас что-то подобное создают. Шам звонил, просил меня в редколлегию. Ну, что же — пусть, буду.

Коленька, спасибо на добром слове!

Твой Ю. Адрианов. Н. Новгород. 2004 г.»

Это одно из последних писем его ко мне. Во многом сумбурное. Но всё же оно немало проясняет его душевное состояние, его затворничество от того, что происходило в писательской организации.

Но хочу ещё раз заметить: Юра в минуты запальчивости и обиды мог написать и наговорить много чего, потом остывал, обдумывал сказанное, потом как ни в чём не бывало мог продолжать общение. Например, всё, что он писал мне о Валерии Шамшурине или Олеге Рябове нельзя, мне кажется, воспринимать как аксиому, потому и опускаю это в письмах. Ведь обоим стихи посвящал, а с Шамшуриным его связывала дружба с тех же студенческих лет. Он всегда поддерживал его кандидатуру, как «своего», на выборах в писательской организации. Они могли и поспорить, и на какое-то время разойтись, «раздружиться», и всё же, несмотря на разногласия, их притягивало друг к другу нечто большее — свет юности, радостное начало, умение понимать степень таланта товарища, его значимость в современной, тем более нижегородской литературе.

Мы нередко перезванивались, он в основном почти взахлёб говорил мне, сколько и чего написал, ему хотелось убедить меня, что он на высоте. Хотя надо признать, что это ему удавалось всё труднее. «Провинциальные Гомеры», увы, не стала той книгой, которую он задумал — много в ней напутано, много несправедливо субъективного, память его на сей раз подвела. Сказалась болезнь — и физическая, и душевная…

Наша с ним последняя встреча до сих пор не выходит у меня из памяти. Она оставила тяжкое впечатление. Я, приехав в Нижний, сразу направился к нему. Мы давненько, несколько лет, не виделись. Дверь открыла Наташа, она повела выгуливать собаку. Юра сидел в своей комнате за машинкой и печатал новый очерк. Увидев меня, обрадовался, засуетился, начал говорить о том, над чем сейчас работает, начал показывать книги, сваленные на полу.

— Сколько хороших книг пришлось продать в лихие годы, чтобы выжить, — сетовал он. — Больше всего жалею книги. Какие книги были. Да ты помнишь!.. Правда, кое-что осталось…

Он старался держаться молодцом, но… Господи, как он выглядел! Ничего почти от прежнего заводного, фрондёрстки настроенного, Юры, блистательного остроумца, живого, весёлого поэта почти не осталось: поседевший, плечи сгорбленные, взгляд всё более задумчивый, грузная фигура выражала какую-то физическую обречённость. Он, правда, ещё пытался шутить по старой привычке, подсмеивался над собой, но я видел, чего это ему стоило.

Посидели мы ещё часа два, повспоминали, погрустили о многом… Мы договорились, что я напечатаю новую подборку его стихов в Петербурге.

Увы, этой своей подборки, уже в журнале «Всерусский собор», он не увидел. По разным причинам публикация затянулась, хотя стихи были уже набраны. И вот прихожу в редакцию узнать, когда она будет опубликована, а мне подают свежий номер с этой подборкой. «Какие стихи! — восхищались все, — особенно «Отрок», пророческие для России строки!..» Я обрадовался: сегодня же отошлю журнал Юре! И тут же в редакции совершенно случайно состоялся у меня телефонный разговор с Геннадием Красниковым из Москвы. «Ты знал поэта Юрия Адрианова?».

Я опешил: «В чём дело? Мы друзья со студенческих лет. Вот держу номер журнала с его стихами...» «А ты знаешь, что он умер? Я был в Нижнем, присутствовал на похоронах...» И последовал рассказ о случившемся...

Не буду описывать своего душевного состояния, близкого к шоку. В тот же день написал стихотворение «Юрий Адрианов» — на одном дыхании.

Ах ты, жизнь... Ах ты, дорогой мой друг Юрий Адрианов...

Я со студенческих лет во многом обязан ему и, наверное, не я один, а многие сверстники, пишущие стихи тогда в Горьком, любовью к истории своей малой Родины, к более глубокому постижению славных страниц городов и селений, любовью к Волге, к Нижнему Новгороду, к его патриархальной старине, к именам, которых было уже чуть слышно за гулом времени, но которые вновь зазвучали и в стихах, и в прозе. Адрианов вдохновенно воспевал полузабытое, пробуждал гордость в наших молодых сердцах к тому, на какой земле живём, какое наследство за плечами. И мы шли за ним, поднимая пласты исторической памяти, обжигаясь чудом находок и прозрений.

Он знал больше нас, у него была богатая домашняя библиотека, а в книжном магазине ему знакомые продавцы оставляли экземпляры редких букинистических книг, и он покупал их, несмотря на высокие по тем временам цены. Он был энциклопедически образован — о чём ни спроси, всё знал. С рюкзаком и мольбертом в руках в составе студенческих экспедиций он обошёл большинство райцентров, городков, сёл и деревень в Горьковской области, глубоко вникая в предания и легенды родного края.

И нас заражал этим.

В Доме учёных, в университете, в пединституте им. Горького мы организовывали поэтические вечера, на которые буквально ломилась молодёжь. «Что-то физики в почёте, что-то лирики в загоне»... Да нет, не были в загоне лирики. Те же учёные приходили на наши вечера слушать стихи, те же физики читали стихи, хотели прослыть ещё и поэтами. Так было. И если это был вечер о творчестве Сергея Есенина или Бориса Корнилова, то каждый из нас, из начинающих поэтов, должен был выучить хоть один стих поэта и прочитать его со сцены. Так мы осваивали духовные сокровища отечественной поэзии.

А уж как читал Юра стихи! Это надо было слышать. Он просто так, встретившись со мной на улице где-нибудь напротив городского драмтеатра, мог остановиться и, то застёгивая, то расстёгивая пуговицу на моём продувном пальтишке, начинал азартно читать: «Выводите полки, выводите полки, выводите полки на Сенатскую площадь!..»

С крыш падали капели, блестя на солнце, и глаза у Юры светились таким торжеством, таким упоением!

Этого не забыть.

Не стало Юрия Адрианова, которого я так любил, который вместе с Фёдором Суховым и Виктором Боковым дал мне рекомендацию в Союз писателей. Но что значит — не стало? Есть его книги, его письма — значит, жив поэт! И будет жить. Он стал гордостью и нижегородской и российской поэзии второй половины XX века!

Хочется привести строки из письма Валентина Распутина о Юре. Я написал ему в Иркутск, сообщил о смерти Юры. Вот что в ответном письме написал Валентин Григорьевич, великий русский писатель:

«...Только из твоего письма узнал, что не стало Юры Адрианова. Я любил его, вот уж был поэт, подвижник своего Нижегородского края. Бывал я у него в Нижнем, он не однажды приезжал в прежние времена в Иркутск. И даже слабость его никогда не была неприятной, он жил с нею словно бы по-дружески. Но последние лет пятнадцать мы не встречались, хотя переписывались иногда. И вот — был и ушёл неслышно, по-русски, чтобы не доставлять хлопот. Вчера проезжал через Нижний (ехали со Светланой поездом), вспомнил, представил — и так горько и пусто стало на душе, что и слёзы набрались...».